



Ф. М. Достоевский

КРОКОДИЛ НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ,
ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ

Федор Михайлович Достоевский

Крокодил

НЕОБЫКНОВЕННОЕ СОБЫТИЕ,

ИЛИ ПАССАЖ В ПАССАЖЕ,

***справедливая повесть о том, как один господин,
известных лет и известной наружности, пассажным
крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и
что из этого вышло.***

I

Сего тринадцатого января текущего шестьдесят пятого года, в половине первого пополудни, Елена Ивановна, супруга Ивана Матвеича, образованного друга моего, сослуживца и отчасти отдаленного родственника, пожелала посмотреть крокодила, показываемого за известную плату в Пассаже. Имея уже в кармане свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следственно, уже считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги, но даже сам возгорелся любопытством. «Прекрасная идея, — сказал он вседовольно, — осмотрим крокодила! Собираясь в Европу, не худо познакомиться еще на месте с населяющими ее туземцами», — и с сими словами, приняв под ручку свою супругу, тотчас же отправился с нею в Пассаж. Я же, по обыкновению моему, увязался с ними рядом — в виде домашнего друга. Никогда еще я не видел Ивана Матвеича в более приятном расположении духа, как в то памятное для меня утро, — подлинно, что мы не знаем заранее судьбы своей! Войдя в Пассаж, он немедленно стал восхищаться великолепием здания, а подойдя к магазину, в котором показывалось вновь привезенное в столицу чудовище, сам пожелал заплатить за меня четвертак крокодильщику, чего прежде с ним никогда не случалось. Вступив в небольшую комнату, мы заметили, что в ней кроме крокодила заключаются еще попугаи из иностранной породы какаду и, сверх того, группа обезьян в особом шкафу в углублении. У самого же входа, у левой стены, стоял большой жестяной ящик в виде как бы ванны, накрытый крепкою железною сеткой, а на дне его было на вершок воды. В этой-то мелководной луже сохранялся огромный крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, видимо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. Сие чудовище ни в ком из нас сначала не возбудило особого любопытства.

— Так это-то крокодил! — сказала Елена Ивановна голосом сожаления и нараспев, — а я думала, что он... какой-нибудь другой!

Вероятнее всего, она думала, что он бриллиантовый. Вышедший к нам немец, хозяин, собственник крокодила, с чрезвычайно гордым видом смотрел на нас.

— Он прав, — шепнул мне Иван Матвеич, — ибо сознает, что он один во всей России показывает теперь крокодила.

Это совершенно вздорное замечание я тоже отношу к чрезмерно благодушному настроению, овладевшему Иваном Матвеичем, в других случаях весьма завистливым.

— Мне кажется, ваш крокодил не живой, — проговорила опять Елена Ивановна, пикированная неподатливостью хозяина, и с грациозной улыбкой обращаясь к нему, чтоб преклонить сего грубияна, — маневр, столь свойственный женщинам.

— О нет, мадам, — отвечал тот ломаным русским языком и тотчас же, приподняв до половины сетку ящика, стал палочкой тыкать крокодила в голову.

Тогда коварное чудовище, чтоб показать свои признаки жизни, слегка пошевелило лапами и хвостом, приподняло рыло и испустило нечто подобное продолжительному сопенью.

— Ну, не сердись, Карльхен! — ласкательно сказал немец, удовлетворенный в своем самолюбии.

— Какой противный этот крокодил! Я даже испугалась, — еще кокетливее пролепетала Елена Ивановна, — теперь он мне будет сниться во сне.

— Но он вас не укусит во сне, мадам, — галантерейно подхватил немец и прежде всех засмеялся остроумию слов своих, но никто из нас не отвечал ему.

— Пойдемте, Семен Семеныч, — продолжала Елена Ивановна, обращаясь исключительно ко мне, — посмотримте лучше обезьян. Я ужасно люблю обезьян; из них такие душки... а крокодил ужасен.

— О, не бойся, друг мой, — прокричал нам вслед Иван Матвейч, приятно храбрясь перед своею супругою. — Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает, — и остался у ящика. Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила, желая, как признался он после, заставить его вновь сопеть. Хозяин же последовал за Еленой Ивановной, как за дамою, к шкафу с обезьянами.

Таким образом, все шло прекрасно и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им. Она вскрикивала от удовольствия, непрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимания обращать на хозяина, и хохотала от замечаемого ею сходства сих мартышек с ее короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я, ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал, смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это-то самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не зная, что подумать, я сначала оледенел на месте; но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро оборотился и — что же увидел я! Я увидел, — о боже! — я увидел несчастного Ивана Матвейча в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг — и его не стало. Но опишу в подробности, потому что я все время стоял неподвижно и успел разглядеть весь происходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. «Ибо, — думал я в ту роковую минуту, — что, если б вместо Ивана Матвейча случилось все это со мной, — какова была бы тогда мне неприятность!» Но к делу. Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвейча в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвейча, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом, отрыгнув еще, глотнул еще и еще раз. Таким образом Иван Матвейч видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вобрал в себя всего моего образованного друга и на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвейч со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба еще раз захотела вероломно подшутить над нами: крокодил понатужился, вероятно давясь от огромности проглоченного им предмета, снова раскрыл всю ужасную пасть свою, и из нее, в виде последней отрыжки, вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвейча, с отчаянным выражением в лице, причем очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика. Казалось, эта отчаянная голова для того только и выскочила, чтоб еще раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями. Но она не успела в своем намерении: крокодил вновь собрался с силами, глотнул — и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем — от быстроты ли и неожиданности действия или вследствие падения с носу очков — заключало в себе что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул; но, спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей:

— Теперь капут нашему Ивану Матвейчу!

Не могу даже и подумать выразить, до какой степени было сильно волнение Елены Ивановны в продолжение всего процесса. Сначала, после первого крика, она как бы замерла на месте и смотрела на представлявшуюся ей кутерьму, по-видимому, равнодушно, но с чрезвычайно выкатившимися глазами; потом вдруг залилась раздирающим воплем, но я схватил ее за руки. В это мгновение и хозяин, сначала тоже отупевший от ужаса, вдруг всплеснул руками и закричал, глядя на небо:

— О мой крокодил, о мейн аллерлибстер Карльхен! Муттер, муттер, муттер!^[2]

На этот крик отворилась задняя дверь и показалась муттер, в чепце, румяная, пожилая, но растрепанная, и с визгом бросилась к своему немцу.

Тут-то начался содом: Елена Ивановна выкрикивала, как иступленная, одно только слово: «Вспороть! вспороть!» — и бросалась к хозяину и к муттер, по-видимому, упрасывая их — вероятно, в самозабвении — кого-то и за что-то вспороть. Хозяин же и муттер ни на кого из нас не обращали внимания: они оба выли, как телята, около ящика.

— Он пропадиль, он сейчас будет лопаль, потому что он проглатиль ганц^[3] чиновник! — кричал хозяин.

— Унзер Карльхен, унзер аллерлибстер Карльхен винд штербен!^[4] — выла хозяйка.

— Мы сиротт и без клерб! — подхватывал хозяин.

— Вспороть, вспороть, вспороть! — заливалась Елена Ивановна, вцепившись в сюртук немца.

— Он дразниль крокодил, — зачем ваш муж дразниль крокодил! — кричал, отбиваясь, немец, — вы заплатит, если Карльхен вирд лопаль,^[5] — дас вар мейн зон, дас вар мейн айнцигер зон!^[6]

Признаюсь, я был в страшном негодовании, видя такой эгоизм заезжего немца и сухость сердца в его растрепанной муттер; и не менее непрерывно повторяемые крики Елены Ивановны: «Вспороть, вспороть!» — еще более возбуждали мое беспокойство и увлекли наконец все мое внимание, так что я даже испугался... Скажу заранее — странные сии восклицания были поняты мною совершенно превратно: мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отомстить за погибель любезного ей Ивана Матвевича, предлагала, в виде следуемого ей удовлетворения, наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрасивать Елену Ивановну успокоиться и, главное, не употреблять щекотливого слова «вспороть». Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом сердце Пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой залы, где, может быть, в эту самую минуту господин Лавров читал публичную лекцию, — не только было невозможно, но даже немисливо и с минуты на минуту могло привлечь на нас свистки образованности и карикатуры г-на Степанова. К ужасу моему, я немедленно оказался прав в пугливых подозрениях моих: вдруг раздвинулась занавесь, отделявшая крокодилную от входной каморки, в которой собирали четвертаки, и на пороге показалась фигура с усами, с бородой и с фуражкой в руках, весьма сильно нагибавшаяся верхнюю часть тела вперед и весьма предусмотрительно старавшаяся держать свои ноги за порогом крокодилной, чтоб сохранить за собой право не заплатить за вход.

— Такое ретроградное желание, сударыня, — сказал незнакомец, стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и устоять за порогом, — не делает чести вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистаны в хронике прогресса и в сатирических листках наших...

Но он не докончил: опомнившийся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодилной и ничего за это не заплатившего, с яростию бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкнул его в шею. На минуту оба скрылись из глаз наших за занавесью, и тут только я наконец догадался, что вся кутерьма вышла из ничего; Елена Ивановна оказалась совершенно невинною: она отнюдь и не думала, как уже заметил я выше, подвергать крокодила ретроградному и унижительному наказанию розгами, а просто-запросто пожелала, чтоб ему только вспороти ножом брюхо и таким образом освободили из его внутренности Ивана Матвевича.

— Как! ви хатит, чтоб мой крокодил пропадиль! — завопил вбежавший опять хозяин, — нетт, пускай

ваш муж сперва пропал, а потом крокодил!.. Мейн фатер[7] показаль крокодил, мейн гротфатер[8] показаль крокодил, мейн зон[9] будет показаль крокодил, и я будет показаль крокодил! Все будут показаль крокодил! Я ганц Европа известен, а ви неизвестен ганц Европа и мне платит штраф.

— Я, я! — подхватила злобная немка, — ми вас не пускайт, штраф, когда Карльхен лопаль!

— Да и бесполезно вспарывать, — спокойно прибавил я, желая отвлечь Елену Ивановну поскорее домой, — ибо наш милый Иван Матвейч, по всей вероятности, парит теперь где-нибудь в эмпиреях.

— Друг мой, — раздался в эту минуту совершенно неожиданно голос Ивана Матвейча, изумивший нас до крайности, — друг мой, мое мнение — действовать прямо через контору надзирателя, ибо немец без помощи полиции не поймет истины.

Эти слова, высказанные твердо, с весом и выразившие присутствие духа необыкновенное, сначала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. Но, разумеется, тотчас же подбежали к крокодильному ящику и столько же с благоговением, сколько и с недоверчивостью слушали несчастного узника. Голос его был заглушенный, тоненький и даже крикливый, как будто выходивший из значительного от нас отдаления. Похоже было на то, когда какой-либо шутник, уходя в другую комнату и закрыв рот обыкновенной спальной подушкой, начинает кричать, желая представить оставшейся в другой комнате публике, как перекликаются два мужика в пустыне или будучи разделены между собою глубоким оврагом, — что я имел удовольствие слышать однажды у моих знакомых на святках.

— Иван Матвейч, друг мой, итак, ты жив! — лепетала Елена Ивановна.

— Жив и здоров, — отвечал Иван Матвейч, — и благодаря всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно...

— Но, друг мой, не заботься об остроумии; прежде всего надобно тебя отсюда как-нибудь выковырять, — прервала Елена Ивановна.

— Ковыряйт! — вскричал хозяин, — я не дам ковыряйт крокодил. Теперь публикум будет ошнень больше ходиль, а я буду фуфциг[10] копеек просиль, и Карльхен перестанет лопаль.

— Гот зей данк![11] — подхватила хозяйка.

— Они правы, — спокойно заметил Иван Матвейч, — экономический принцип прежде всего.

— Друг мой, — закричал я, — сейчас же лечу по начальству и буду жаловаться, ибо предчувствую, что нам одним этой каши не сварить.

— И я то же думаю, — заметил Иван Матвейч, — но без экономического вознаграждения трудно в наш век торгового кризиса даром вспороть брюхо крокодилово, а между тем представляется неизбежный вопрос: что возьмет хозяин за своего крокодила? а с ним и другой: кто заплатит? ибо ты знаешь, я средств не имею...

— Разве в счет жалованья, — робко заметил я, но хозяин тотчас же меня прервал:

— Я не продавайт крокодил, я три тысячи продавайт крокодил, я четыре тысячи продавайт крокодил! Теперь публикум будет много ходиль. Я пять тысяч продавайт крокодил!

Одним словом, он куражился нестерпимо; корыстолюбие и гнусная алчность радостно сияли в глазах его.

— Еду! — закричал я в негодовании.

— И я! и я тоже! я поеду к самому Андрею Осипычу, я смягчу его моими слезами, — заныла Елена

Ивановна.

— Не делай этого, друг мой, — поспешно прервал ее Иван Матвеич, ибо давно уже ревновал свою супругу к Андрею Осипычу и знал, что она рада съездить поплакать перед образованным человеком, потому что слезы к ней очень шли. — Да и тебе, мой друг, не советую, — продолжал он, обращаясь ко мне, — нечего ехать прямо с бухты-баракты; еще что из этого выйдет. А заезжай-ка ты лучше сегодня, так, в виде частного посещения, к Тимофею Семенычу. Человек он старомодный и недалекий, но солидный и, главное, — прямой. Поклонись ему от меня и опиши обстоятельства дела. Так как я должен ему за последний ералаш семь рублей, то передай их ему при этом удобном случае: это смягчит сурового старика. Во всяком случае, его совет может послужить для нас руководством. А теперь уведи пока Елену Ивановну... Успокойся, друг мой, — продолжал он ей, — я устал от всех этих криков и бабьих дряг и желаю немного соснуть. Здесь же тепло и мягко, хотя я и не успел еще осмотреться в этом неожиданном для меня убежище...

— Осмотреться! Разве тебе там светло? — вскрикнула обрадованная Елена Ивановна.

— Меня окружает непробудная ночь, — отвечал бедный узник, — но я могу щупать и, так сказать, осматриваться руками... Прощай же, будь спокойна и не отказывай себе в развлечениях. До завтра! Ты же, Семен Семеныч, побывай ко мне вечером, и так как ты рассеян и можешь забыть, то завяжи узелок...

Признаюсь, я и рад был уйти, потому что слишком устал, да отчасти и наскучило. Взяв поспешно под ручку унылую, но похорошевшую от волнения Елену Ивановну, я поскорее вывел ее из крокодильней.

— Вечером за вход опять четвертак! — крикнул нам вслед хозяин.

— О боже, как они жадны! — проговорила Елена Ивановна, глядясь в каждое зеркало в простенках Пассажа и, видимо, сознавая, что она похорошела.

— Экономический принцип, — отвечал я с легким волнением и гордясь моею дамою перед прохожими.

— Экономический принцип... — протянула она симпатическим голоском, — я ничего не поняла, что говорил сейчас Иван Матвеич об этом противном экономическом принципе.

— Я объясню вам, — отвечал я и немедленно начал рассказывать о благотельных результатах привлечения иностранных капиталов в наше отечество, о чем прочел еще утром в «Петербургских известиях» и в «Волосе».

— Как это все странно! — прервала она, прослушав некоторое время, — да перестаньте же, противный; какой вы вздор говорите... Скажите, я очень красна?

— Вы прекрасны, а не красны! — заметил я, пользуясь случаем сказать комплимент.

— Шалун! — пролепетала она самодовольно. — Бедный Иван Матвеич, — прибавила она через минуту, кокетливо склонив на плечо головку, — мне, право, его жаль, ах боже мой! — вдруг вскрикнула она, — скажите, как же он будет сегодня там кушать и... и... как же он будет... если ему чего-нибудь будет надобно?

— Вопрос непредвиденный, — отвечал я, тоже озадаченный. Мне, по правде, это не приходило и в голову, до того женщины практичнее нас, мужчин, при решении житейских задач!

— Бедняжка, как это он так втюрился... и никаких развлечений и темно... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки... Итак, я теперь вроде вдовы, — прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуюсь новым своим положением, — гм... все-таки мне его жаль!..

Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о

погибшем муже. Я привел ее наконец домой, успокоил и, пообедав вместе с нею, после чашки ароматного кофе, отправился в шесть часов к Тимофею Семенычу, рассчитывая, что в этот час все семейные люди определенных занятий сидят или лежат по домам.

Написав сию первую главу слогом, приличным рассказанному событию, я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышенный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя.

II

Почтенный Тимофей Семеныч встретил меня как-то торопливо и как будто немного смешавшись. Он провел меня в свой тесный кабинет и плотно притворил дверь: «Чтобы дети не мешали», — проговорил он с видимым беспокойством. Затем посадил меня на стул у письменного стола, сам сел в кресла, запахнул полы своего старого ватного халата и принял на всякий случай какой-то официальный, даже почти строгий вид, хотя вовсе не был моим или Ивана Матвеича начальником, а считался до сих пор обыкновенным сослуживцем и даже знакомым.

— Прежде всего, — начал он, — возьмите во внимание, что я не начальство, а такой же точно подначальный человек, как и вы, как и Иван Матвеич... Я сторона-с и ввязываться ни во что не намерен.

Я удивился, что, по-видимому, он уже все это знает. Несмотря на то, рассказал ему вновь всю историю с подробностями. Говорил я даже с волнением, ибо исполнял в эту минуту обязанность истинного друга. Он выслушал без особого удивления, но с явным признаком подозрительности.

— Представьте, — сказал он, выслушав, — я всегда полагал, что с ним непременно это случится.

— Почему же-с, Тимофей Семеныч, случай сам по себе весьма необыкновенный-с...

— Согласен. Но Иван Матвеич во все течение службы своей именно клонил к такому результату. Прыток-с, заносчив даже. Все «прогресс» да разные идеи-с, а вот куда прогресс-то приводит!

— Но ведь это случай самый необыкновенный, и общим правилом для всех прогрессистов его никак нельзя положить...

— Нет, уж это так-с. Это, видите ли, от излишней образованности происходит, поверьте мне-с. Ибо люди излишне образованные лезут во всякое место-с и преимущественно туда, где их вовсе не спрашивают. Впрочем, может, вы больше знаете, — прибавил он, как бы обижаясь. — Я человек не столь образованный и старый; с солдатских детей начал, и службе моей пятидесятилетний юбилей сего года пошел-с.

— О нет, Тимофей Семеныч, помилуйте. Напротив, Иван Матвеич жаждет вашего совета, руководства вашего жаждет. Даже, так сказать, со слезами-с.

— «Так сказать со слезами-с». Гм. Ну, это слезы крокодиловы, и им не совсем можно верить. Ну, зачем, скажите, потянуло его за границу? Да и на какие деньги? Ведь он и средств не имеет?

— На скопленное, Тимофей Семеныч, из последних наградных, — отвечал я жалобно. — Всего на три месяца хотел съездить, — в Швейцарию... на родину Вильгельма Телля.

— Вильгельма Телля? Гм!

— В Неаполе встретить весну хотел-с. Осмотреть музей, нравы, животных...

— Гм! животных? А по-моему, так просто из гордости. Каких животных? Животных? Разве у нас мало животных? Есть зверинцы, музеи, верблюды. Медведи под самым Петербургом живут. Да вот он и сам засел в крокодиле...

— Тимофей Семеныч, помилуйте, человек в несчастье, человек прибегает как к другу, как к старшему родственнику, совета жаждет, а вы — укоряете... Пожалейте хоть несчастную Елену Ивановну!

— Это вы про супругу-с? Интересная дамочка, — проговорил Тимофей Семеныч, видимо смягчаясь и с аппетитом нюхнув табаку. — Особа субтильная. И как полна, и головку все так на бочок, на бочок... очень приятно-с. Андрей Осипыч еще третьего дня упоминал.

— Упоминал?

— Упоминал-с, и в выражениях весьма лестных. Бюст, говорит, взгляд, прическа... Конфетка, говорит, а не дамочка, и тут же засмеялись. Молодые они еще люди. — Тимофей Семеныч с треском высморкался. — А между тем вот и молодой человек, а какую карьеру себе составляют-с...

— Да ведь тут совсем другое, Тимофей Семеныч.

— Конечно, конечно-с.

— Так как же, Тимофей Семеныч?

— Да что же я-то могу сделать?

— Посоветуйте-с, руководите, как опытный человек, как родственник! Что предпринять? Идти ли по начальству или...

— По начальству? Отнюдь нет-с, — торопливо произнес Тимофей Семеныч. — Если хотите совета, то прежде всего надо это дело замять и действовать, так сказать, в виде частного лица. Случай подозрительный-с, да и небывалый. Главное, небывалый, примера не было-с, да и плохо рекомендуемый... Поэтому осторожность прежде всего... Пусть уж там себе полежит. Надо выждать, выждать...

— Да как же выждать, Тимофей Семеныч? Ну что, если он там задохнется?

— Да почему же-с? Ведь вы, кажется, говорили, что он даже с довольным комфортом устроился?

Я рассказал все опять. Тимофей Семеныч задумался.

— Гм! — проговорил он, вертя табакерку в руках, — по-моему, даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. Пусть на досуге подумает; разумеется, задохнуться не надо, и потому надо взять надлежащие меры для сохранения здоровья: ну, там, остерегаться кашля и прочего... А что касается немца, то, по моему личному мнению, он в своем праве, и даже более другой стороны, потому что в его крокодила влезли без спросу, а не он влез без спросу в крокодила Ивана Матвеевича, у которого, впрочем, сколько я запомню, и не было своего крокодила. Ну-с, а крокодил составляет собственность, стало быть, без вознаграждения его взрезать нельзя-с.

— Для спасения человечества, Тимофей Семеныч.

— Ну уж это дело полиции-с. Туда и следует отнестись.

— Да ведь Иван Матвеевич может и у нас понадобиться. Его могут потребовать-с.

— Иван-то Матвеевич понадобиться? хе-хе! К тому же ведь он считается в отпуску, стало быть, мы можем и игнорировать, а он пусть осматривает там европейские земли. Другое дело, если он после срока не явится, ну тогда и спросим, справки наведем...

— Три-то месяца! Тимофей Семеныч, помилуйте!

— Сам виноват-с. Ну, кто его туда совал? Эдак, пожалуй, придется ему казенную няньку нанять-с, а этого и по штату не полагается. А главное — крокодил есть собственность, стало быть, тут уже так называемый экономический принцип в действии. А экономический принцип прежде всего-с. Еще третьего дня у Луки Андреича на вечере Игнатий Прокофьевич говорил, Игнатия Прокофьевича знаете? Капиталист, при делах-с, и знаете складно так говорит: «Нам нужна, говорит, промышленность, промышленности у нас мало. Надо ее родить. Надо капиталы родить, значит, среднее сословие, так называемую буржуазию надо родить. А так как нет у нас капиталов, значит, надо их из-за границы привлечь. Надо, во-первых, дать ход иностранным компаниям для скупки по участкам наших земель, как везде утверждено теперь за границей.

пусть выжидает, да и куда ему спешить?

— Ну, а если...

— Не беспокойтесь, сложения плотного-с...

— Ну, а потом, когда выждет?

— Ну-с, не скрою от вас, что случай до крайности казусный. Сообразиться нельзя-с, и, главное, то вредит, что не было до сих пор примера подобного. Будь у нас пример, еще можно бы как-нибудь руководствоваться. А то как тут решишь? Станешь соображать, а дело затянется.

Счастливая мысль блеснула у меня в голове.

— Нельзя ли устроить так-с, — сказал я, — что уж если суждено ему оставаться в недрах чудовища и, волею провидения, сохранится его живот, нельзя ли подать ему прошение о том, чтобы числиться на службе?

— Гм... разве в виде отпуска и без жалованья...

— Нет-с, нельзя ли с жалованьем-с?

— На каком же основании?

— В виде командировки...

— Какой и куда?

— Да в недра же, в крокодиловы недра... Так сказать, для справок, для изучения фактов на месте. Конечно, это будет ново, но ведь это прогрессивно и в то же время покажет заботливость о просвещении-с...

Тимофей Семеныч задумался.

— Командировать особого чиновника, — сказал он наконец, — в недра крокодила для особых поручений, по моему личному мнению, — нелепо-с. По штату не полагается. Да и какие могут быть туда поручения?

— Да для естественного, так сказать, изучения природы на месте, в живье-с. Нынче все пошли естественные науки-с, ботаника... Он бы там жил и сообщал-с... ну, там о пищеварении или просто о нравах. Для скопления фактов-с.

— То есть это по части статистики. Ну, в этом я не силен, да и не философ. Вы говорите: факты, — мы и без того завалены фактами и не знаем, что с ними делать. Притом же эта статистика опасна...

— Чем же-с?

— Опасна-с. И к тому ж, согласитесь, он будет сообщать факты, так сказать, лежа на боку. А разве можно служить, лежа на боку? Это уж опять нововведение, и притом опасное-с; и опять-таки примера такого не было. Вот если б нам хоть какой-нибудь примерчик, так, по моему мнению, пожалуй, и можно бы командировать.

— Но ведь и крокодилов живых не привозили до сих пор, Тимофей Семеныч.

— Гм, да... — он опять задумался. — Если хотите, это возражение ваше справедливо и даже могло бы служить основанием к дальнейшему производству дела. Но опять возьмите и то, что если с появлением живых крокодилов начнут исчезать служащие и потом, на основании того, что там тепло и мягко, будут требовать туда командировок, а потом лежать на боку... согласитесь сами — дурной пример-с. Ведь эдак, пожалуй, всякий туда ползет даром деньги-то брать.

— Порадейте, Тимофей Семеныч! Кстати-с: Иван Матвеич просил передать вам карточный должок, семь рублей, в ералаш-с...

— Ах, это он проиграл намедни, у Никифор Никифoryча! Помню-с. И как он тогда был весел, смешил, и вот!..

Старик был искренно тронут.

— Порадейте, Тимофей Семеныч.

— Похлопочу-с. От своего лица поговорю, частным образом, в виде справки. А впрочем, разузнайте-ка так, неофициально, со стороны, какую именно цену согласился бы взять хозяин за своего крокодила?

Тимофей Семеныч видимо подобрел.

— Непременно-с, — отвечал я, — и тотчас же явлюсь к вам с отчетом.

— Супруга-то... одна теперь? Скучает?

— Вы бы навестили, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с, я еще давеча подумал, да и случай удобный... И зачем, зачем это его дергало смотреть крокодила! А впрочем, я бы и сам желал посмотреть.

— Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч.

— Навещу-с. Конечно, я этим шагом моим не хочу обнадеживать. Я прибуду как частное лицо... Ну-с, до свиданья, я ведь опять к Никифор Никифoryчу; будете?

— Нет-с, я к узнику.

— Да-с, вот теперь и к узнику!.. Э-эх, легкомыслие!

Я распростился с стариком. Разнообразные мысли ходили в моей голове. Добрый и честнейший человек Тимофей Семеныч, а, выходя от него, я, однако, порадовался, что ему был уже пятидесятилетний юбилей и что Тимофеи Семенычи у нас теперь редкость. Разумеется, я тотчас полетел в Пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеичу. Да и любопытство разбирало меня: как он там устроился в крокодиле и как это можно жить в крокодиле? Да и можно ли действительно жить в крокодиле? Порой мне, право, казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело-то шло о чудовище...

III

И, однако ж, это был не сон, а настоящая, несомненная действительность. Иначе — стал ли бы я и рассказывать! Но продолжаю...

В Пассаж я попал уже поздно, около девяти часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода, потому что немец запер магазин на этот раз ранее обыкновенного. Он расхаживал по-домашнему в каком-то засаленном старом сюртучишке, но сам еще втрое довольнее, чем давеча утром. Видно было, что он уже ничего не боится и что «публикум много ходиль». Муттер вышла уже потом, очевидно затем, чтобы следить за мной. Немец с муттер часто перешептывались. Несмотря на то, что магазин был уже заперт, он все-таки взял с меня четвертак. И что за ненужная аккуратность!

— Ви каждый раз будет платить; публикум будут рубль платить, а ви один четвертак, ибо ви добры друк вашего добры друк, а я почитаю друк...

— Жив ли, жив ли образованный друг мой! — громко вскричал я, подходя к крокодилу и надеясь, что слова мои еще издали достигнут Ивана Матвеича и польстят его самолюбию.

— Жив и здоров, — отвечал он, как будто издали или как бы из-под кровати, хотя я стоял подле него, — жив и здоров, но об этом после... Как дела?

Как бы нарочно не расслышав вопроса, я было начал с участием и поспешностию сам его спрашивать: как он, что он и каково в крокодиле и что такое вообще внутри крокодила? Это требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию. Но он капризно и с досадою перебил меня.

— Как дела? — прокричал он, по обыкновению мною командуя, своим визгливым голосом, чрезвычайно на этот раз отвратительным.

Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семенычем до последней подробности. Рассказывая, я старался выказать несколько обиженный тон.

— Старик прав, — решил Иван Матвеич так же резко, как и по всегдашнему обыкновению своему в разговорах со мной. — Практических людей люблю и не терплю сладких мямлей. Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Действительно, многое могу сообщить и в научном, и в нравственном отношении. Но теперь это все принимает новый и неожиданный вид и не стоит хлопотать из одного только жалованья. Слушай внимательно. Ты сидишь?

— Нет, стою.

— Садись на что-нибудь, ну хоть на пол, и слушай внимательно.

Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им об пол.

— Слушай, — начал он повелительно, — публики сегодня приходило целая бездна. К вечеру не хватило места и для порядка явилась полиция. В восемь часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашел даже нужным запереть магазин и прекратить представление, чтоб сосчитать привлеченные деньги и удобнее приготовиться к завтраму. Знаю, что завтра соберется целая ярмарка. Таким образом, надо полагать, что все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники, юристы и прочие здесь перебивают. Мало того: станут наезжать из многосторонних провинций нашей обширной и любопытной империи. В результате — я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Стану поучать праздную толпу. Наученный опытом, представлю из себя пример величия и смирения перед судьбою! Буду, так сказать, кафедрой, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественнонаучные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, — драгоценны. И

потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер.

— Не наскучило бы? — заметил я ядовито.

Всего более обозлило меня то, что он почти уже совсем перестал употреблять личные местоимения — до того заважничал. Тем не менее все это меня сбило с толку. «С чего, с чего эта легкомысленная башка куражится! — скрежетал я шепотом про себя. — Тут надо плакать, а не куражиться».

— Нет! — отвечал он резко на мое замечание, — ибо весь проникнут великими идеями, только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею — чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье. Кстати, отдал семь рублей Тимофею Семенычу?

— Из своих, — ответил я, стараясь выразить голосом, что заплатил из своих.

— Сочтемся, — ответил он высокомерно. — Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Жена?

— Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?

— Жена?! — закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.

Нечего было делать! Смиренно, но опять-таки скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал.

— Имею на нее особые виды, — начал он нетерпеливо. — Если буду знаменит здесь, то хочу, чтоб она была знаменита там. Ученые, поэты, философы, заезжие минералогии, государственные мужи после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. С будущей недели у нее должны начаться каждый вечер салоны. Удвоенный оклад будет давать средства к приему, а так как прием должен ограничиваться одним чаем и нанятыми лакеями, то и делу конец. И здесь и там будут говорить обо мне. Давно жаждал случая, чтоб все говорили обо мне, но не мог достигнуть, скованный малым значением и недостаточным чином. Теперь же все это достигнуто каким-нибудь самым обыкновенным глотком крокодила. Каждое слово мое будет выслушиваться, каждое изречение обдумываться, передаваться, печататься. И я задам себя знать! Поймут наконец, каким способностям дали исчезнуть в недрах чудовища. «Этот человек мог быть иностранным министром и управлять королевством», — скажут одни. «И этот человек не управлял иностранным королевством», — скажут другие. Ну чем, ну чем я хуже какого-нибудь Гарнье-Пажесишки или как их там?.. Жена должна составлять мне пандан [\[12\]](#) — у меня ум, у нее красота и любезность. «Она прекрасна, потому и жена его», — скажут одни. «Она прекрасна, потому что жена его», — поправят другие. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, издававшийся под редакцией Андрея Краевского, чтоб уметь говорить обо всех предметах. Чаще же всего пусть читает premier-политик [\[13\]](#) «С.-Петербургских известий», сверяя каждодневно с «Волосом». Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня, вместе с крокодилом, в блестящий салон жены моей. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, — так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. Жену сделаю блестящею литературною дамою; я ее выдвину вперед и объясню ее публике; как жена моя, она должна быть полна величайших достоинств, и если справедливо называют Андрея Александровича нашим русским Альфредом де Мюссе, то еще справедливее будет, когда назовут ее нашей русской Евгенией Тур.

Признаюсь, хотя вся эта дичь и походила несколько на всегдашнего Ивана Матвеича, но мне все-таки пришло в голову, что он теперь в горячке и бредит. Это был все тот же обыкновенный и ежедневный Иван

Матвеич, но наблюдаемый в стекло, в двадцать раз увеличивающее.

— Друг мой, — спросил я его, — надеешься ли ты на долговечность? И вообще скажи: здоров ли ты? Как ты ешь, как ты спишь, как ты дышишь? Я друг тебе, и согласись, что случай слишком сверхъестественный, а следовательно, любопытство мое слишком естественно.

— Праздное любопытство и больше ничего, — отвечал он сентенциозно, — но ты будешь удовлетворен. Спрашиваешь, как устроился я в недрах чудовища? Во-первых, крокодил, к удивлению моему, оказался совершенно пустой. Внутренность его состоит как бы из огромного пустого мешка, сделанного из резинки, вроде тех резиновых изделий, которые распространены у нас в Гороховой, в Морской и, если не ошибаюсь, на Вознесенском проспекте. Иначе, сообрази, мог ли бы я в нем поместиться?

— Возможно ли? — вскричал я в понятном изумлении. — Неужели крокодил совершенно пустой?

— Совершенно, — строго и внушительно подтвердил Иван Матвеич. — И, по всей вероятности, он устроен так по законам самой природы. Крокодил обладает только пастью, снабженную острыми зубами, и вдобавок к пасти — значительно длинным хвостом — вот и все, по-настоящему. В середине же между семи двумя его оконечностями находится пустое пространство, обнесенное чем-то вроде каучука, вероятнее же всего действительно каучуком.

— А ребра, а желудок, а кишки, а печень, а сердце? — прервал я даже со злобою.

— Н-ничего, совершенно ничего этого нет и, вероятно, никогда не бывало. Все это — праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты, в качестве домашнего друга, мог бы поместиться со мной рядом, если б обладал великодушием, и даже с тобой еще достало бы места. Я даже думаю в крайнем случае выписать сюда Елену Ивановну. Впрочем, подобное пустопорожнее устройство крокодила совершенно согласно с естественными науками. Ибо, положим например, тебе дано устроить нового крокодила — тебе, естественно, представляется вопрос: какое основное свойство крокодилово? Ответ ясен: глотать людей. Как же достигнуть устройством крокодила, чтоб он глотал людей? Ответ еще яснее: устроив его пустым. Давно уже решено физикой, что природа не терпит пустоты. Подобно сему и внутренность крокодилова должна именно быть пустою, чтоб не терпеть пустоты, а, следовательно, непрерывно глотать и наполняться всем, что только есть под рукою. И вот единственная разумная причина, почему все крокодилы глотают нашего брата. Не так в устройстве человеческого: чем пустее, например, голова человеческая, тем менее она ощущает жажды наполниться, и это единственное исключение из общего правила. Все это мне теперь ясно, как день, все это я постиг собственным умом и опытом, находясь, так сказать, в недрах природы, в ее реторте, прислушиваясь к биению пульса ее. Даже этимология согласна со мною, ибо самое название крокодил означает прожорливость. Крокодил, *Crocodillo*, — есть слово, очевидно, итальянское, современное, может быть, древним фараонам египетским и, очевидно, происходящее от французского корня: *croquer*, что означает съесть, скушать и вообще употребить в пищу. Все это я намерен прочесть в виде первой лекции публике, собравшейся в салоне Елены Ивановны, когда меня принесут туда в ящике.

— Друг мой, не принять ли тебе теперь хоть слабительного! — вскричал я невольно. «У него жар, жар, он в жару!» — повторял я про себя в ужасе.

— Вздор! — отвечал он презрительно, — и к тому же в теперешнем положении моем это совсем неудобно. Впрочем, я отчасти знал, что ты заговоришь о слабительном.

— Друг мой, а как... как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ты сегодня или нет?

— Нет, но сыт и, вероятнее всего, теперь уже никогда не буду употреблять пищи. И это тоже

совершенно понятно: наполняя собою всю внутренность крокодилову, я делаю его навсегда сытым. Теперь его можно не кормить несколько лет. С другой стороны, — сытый мною, он естественно сообщит и мне все жизненные соки из своего тела; это вроде того, как некоторые утонченные кокетки обкладывают себя и все свои формы на ночь сырыми котлетами и потом, приняв утреннюю ванну, становятся свежими, упругими, сочными и обольстительными. Таким образом, питая собою крокодила, я, обратно, получаю и от него питание; следовательно — мы взаимно кормим друг друга. Но так как трудно, даже и крокодилу, переваривать такого человека, как я, то уж, разумеется, он должен при этом ощущать некоторую тяжесть в желудке, — которого, впрочем, у него нет, — и вот почему, чтоб не доставить излишней боли чудовищу, я редко ворочаюсь с боку на бок; и хотя бы и мог ворочаться, но не делаю сего из гуманности. Это единственный недостаток теперешнего моего положения, и в аллегорическом смысле Тимофей Семеныч справедлив, называя меня лежебокой. Но я докажу, что и лежа на боку, — мало того, — что только лежа на боку и можно перевернуть судьбу человечества. Все великие идеи и направления наших газет и журналов, очевидно, произведены лежебоками; вот почему и называют их идеями кабинетными, но наплевать, что так называют! Я изобрету теперь целую социальную систему, и — ты не поверишь — как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества. Давеча, как вы ушли, я тотчас же принялся изобретать и изобрел уже три системы, теперь изготовляю четвертую. Правда, сначала надо все опровергнуть; но из крокодила так легко опровергать; мало того, из крокодила как будто это виднее становится... Впрочем, в моем положении существуют и еще недостатки, хотя и мелкие: внутри крокодила несколько сыро и как будто покрыто слизью да, сверх того, еще несколько пахнет резинкой, точь-в-точь как от моих прошлогодних калош. Вот и всё, более нет никаких недостатков.

— Иван Матвеич, — прервал я, — все это чудеса, которым я едва могу верить. И неужели, неужели ты всю жизнь не намерен обедать?

— О каком вздоре заботишься ты, беспечная, праздная голова! Я тебе о великих идеях рассказываю, а ты... Знай же, что я сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую. Впрочем, добродушный хозяин чудовища, сговорившись с добрейшею муттер, решили давеча промеж себя, что будут каждое утро просовывать в пасть крокодила изогнутую металлическую трубочку, вроде дудочки, через которую я бы мог втягивать в себя кофе или бульон с размоченным в нем белым хлебом. Дудочка уже заказана по соседству, но полагаю, что это излишняя роскошь. Прожить же надеюсь по крайней мере тысячу лет, если справедливо, что по стольку лет живут крокодилы, о чем, благо напомнил, справься завтра же в какой-нибудь естественной истории и сообщи мне, ибо я мог ошибиться, смешав крокодила с каким-нибудь другим ископаемым. Одно только соображение несколько смущает меня: так как я одет в сукно, а на ногах у меня сапоги, то крокодил, очевидно, меня не может переварить. Сверх того, я живой и потому сопротивляюсь переварению меня всею моею волею, ибо понятно, что не хочу обратиться в то, во что обращается всякая пища, так как это было бы слишком для меня унижительно. Но боюсь одного: в тысячелетний срок сукно сюртука моего, к несчастью русского изделия, может истлеть, и тогда я, оставшись без одежды, несмотря на все мое негодование, начну, пожалуй, и перевариваться; и хоть днем я этого ни за что не допущу и не позволю, но по ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постигнуть самая унижительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятины. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз сукон английских, которые крепче, а следственно, и дольше будут сопротивляться природе, в случае если попадешь в крокодила. При первом случае сообщу мысль мою кому-либо из людей государственных, а вместе с тем и политическим обозревателям наших ежедневных петербургских газет. Пусть прокричат. Надеюсь, что не одно это они теперь от меня позаимствуют. Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кругом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних

телеграмм. Короче — будущность представляется мне в самом розовом свете.

«Горячка, горячка!» — шептал я про себя.

— Друг мой, а свобода? — проговорил я, желая вполне узнать его мнение. — Ведь ты, так сказать, в темнице, тогда как человек должен наслаждаться свободой.

— Ты глуп, — отвечал он. — Люди дикие любят независимость, люди мудрые любят порядок, а нет порядка...

— Иван Матвеич, пощади и помилуй!

— Молчи и слушай! — взвизгнул он в досаде, что я перебил его. — Никогда не воспарял я духом так, как теперь. В моем тесном убежище одного боюсь — литературной критики толстых журналов и свиста сатирических газет наших. Боюсь, чтоб легкомысленные посетители, глупцы и завистники и вообще нигилисты не подняли меня на смех. Но я приму меры. С нетерпением жду завтрашних отзывов публики, а главное — мнения газет. О газетах сообщи завтра же.

— Хорошо, завтра же принесу сюда целый ворох газет.

— Завтра еще рано ждать газетных отзывов, ибо объявления печатаются только на четвертый день. Но отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора. Я намерен употреблять тебя как моего секретаря. Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения. В особенности не забывай телеграмм. Каждый день чтоб были здесь все европейские телеграммы. Но довольно; вероятно, ты теперь хочешь спать. Ступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике: я не боюсь ее, ибо сама она находится в критическом положении. Стоит только быть мудрым и добродетельным, и непременно станешь на пьедестал. Если не Сократ, то Диоген, или то и другое вместе, и вот будущая роль моя в человечестве.

Так легкомысленно и навязчиво (правда, — в горячке) торопился высказаться передо мной Иван Матвеич, подобно тем слабохарактерным бабам, про которых говорит пословица, что они не могут удержать секрета. Да и все то, что сообщил он мне о крокодиле, показалось мне весьма подозрительным. Ну как можно, чтоб крокодил был совершенно пустой? Бьюсь об заклад, что в этом он прихвастнул из тщеславия и отчасти, чтоб меня унижить. Правда, он был больной, а больному надо уважить; но, признаюсь откровенно, я всегда терпеть не мог Ивана Матвеича. Всю жизнь, начиная с самого детства, я желал и не мог избавиться от его опеки. Тысячу раз хотел было я с ним совсем расплеваться, и каждый раз меня опять тянуло к нему, как будто я все еще надеялся ему что-то доказать и за что-то отомстить. Странная вещь эта дружба! Положительно могу сказать, что я на девять десятых был с ним дружен из злобы. На этот раз мы простились, однако же, с чувством.

— Ваш друк очень умна шеловек, — сказал мне вполголоса немец, собираясь меня провожать; он все время прилежно слушал наш разговор.

— А прогос, — сказал я, — чтоб не забыть, — сколько бы взяли вы за вашего крокодила, на случай если б вздумали у вас его покупать?

Иван Матвеич, слышавший вопрос, с любопытством выжидал ответа. Видимо было, что ему не хотелось, чтоб немец взял мало; по крайней мере он как-то особенно крякнул при моем вопросе.

Сначала немец и слушать не хотел, даже рассердился.

— Никто не смеит покупать мой собственный крокодил! — вскричал он яростно и покраснел, как вареный рак. — Я не хатит продавайт крокодил. Я миллион талер не стану браль за крокодил. Я сто тридцать талер сегодня с публикум браль, я завтра десять тысяч талер собраль, а потом сто тысяч талер каждый день собираль. Не хочу продаваль!

Иван Матвеич даже захихикал от удовольствия.

Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, — ибо исполнял обязанность истинного друга, — намекнул я сумасбродному немцу, что расчеты его не совсем верны, что если он каждый день будет собирать по сту тысяч, то в четыре дня у него перебивает весь Петербург и потом уже не с кого будет собирать, что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и помереть и проч., и проч.

Немец задумался.

— Я будет ему капли из аптеки даваль, — сказал он, надумавшись, — и ваш друк не будет умираль.

— Капли каплями, — сказал я, — но возьмите и то, что может затеяться судебный процесс. Супруга Ивана Матвеича может потребовать своего законного супруга. Вы вот намерены богатеть, а намерены ли вы назначить хоть какую-нибудь пенсию Елене Ивановне?

— Нет, не мереваль! — решительно и строго отвечал немец.

— Нетт, не мереваль! — подхватила, даже со злобою, муттер.

— Итак, не лучше ли вам взять что-нибудь теперь, разом, хоть и умеренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю вас не из одного только праздного любопытства.

Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной.

— Вот увидишь! — сказал мне Иван Матвеич.

Что до меня касается, я в эту минуту сгорал желанием, во-первых, — избить больно немца, во-вторых, еще более избить муттер, а в-третьих, всех больше и больнее избить Ивана Матвеича за безграничность его самолюбия. Но все это ничего не значило в сравнении с ответом жадного немца.

Насоветовавшись с своей муттер, он потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяч рублей билетами последнего внутреннего займа с лотереєю, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, — чин русского полковника.

— Видишь! — торжествуя, прокричал Иван Матвеич, — я говорил тебе! Кроме последнего безумного желания производства в полковники, — он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность показываемого им чудовища. Экономический принцип прежде всего!

— Помилуйте! — яростно закричал я немцу, — да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого?

— Безумны! — вскричал немец обидевшись, — нет, я очень умна шеловек, а ви очень глуп! Я заслужил польковник, потому што показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат^[14] сидиль, а русский не может показаль крокодиль, а в нем живой гоф-рат сидиль! Я чрезвычайно умны шеловек и очень хочу быть польковник!

— Так прощай же, Иван Матвеич! — вскричал я, дрожа от бешенства, и почти бегом выбежал из крокодильной. Я чувствовал, что еще минута, и я уже не мог бы отвечать за себя. Неестественные надежды этих двух болванов были невыносимы. Холодный воздух, освежив меня, несколько умерил мое негодование. Наконец, энергически плюнув раз до пятнадцати в обе стороны, я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретари. Теперь умирай там от скуки каждый вечер, исполняя обязанность истинного друга! Я готов был прибить себя за это и действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаком по

голове и по другим частям тела. Это несколько облегчило меня, и я наконец заснул даже довольно крепко, потому что очень устал. Всю ночь снились мне только одни обезьяны, но под самое утро приснилась Елена Ивановна...

IV

Обезьяны, как догадываюсь, приснились потому, что заключались в шкафу у крокодильщика, но Елена Ивановна составляла статью особенную.

Скажу заранее: я любил эту даму; но спешу — и спешу на курьерских — оговориться: я любил ее как отец, ни более, ни менее. Заключая так потому, что много раз случалось со мною неудержимое желание поцеловать ее в головку или в румяную щечку. И хотя я никогда не приводил сего в исполнение, но каюсь — не отказался бы поцеловать ее даже и в губки. И не то что в губки, а в зубки, которые так прелестно всегда выставлялись, точно ряд хорошеньких, подобранных жемчужинок, когда она смеялась. Она же удивительно часто смеялась. Иван Матвееч называл ее, в ласкательных случаях, своей «милой нелепостью» — название в высшей степени справедливое и характеристичное. Это была дама-конфетка и более ничего. Посему совершенно не понимаю, зачем вздумалось теперь тому же самому Ивану Матвеечу воображать в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? Во всяком случае, мой сон, если не брать в расчет обезьян, произвел на меня приятнейшее впечатление, и, перебирая в голове за утренней чашкой чаю все происшествия вчерашнего дня, я решил немедленно зайти к Елене Ивановне, по дороге на службу, что, впрочем, обязан был сделать и в качестве домашнего друга.

В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Ивановна и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. Была она обольстительно хороша, но показалась мне тоже и как будто задумчивою.

— Ах, это вы, шалун! — встретила она меня с рассеянной улыбкой, — садитесь, ветреник, пейте кофе. Ну что вы вчера делали? Были в маскараде?

— А разве вы были? Я ведь не езжу... к тому же посещал вчера нашего узника...

Я вздохнул и, принимая кофе, сделал благочестивую мину.

— Кого? Какого это узника? Ах, да! Бедняжка! Ну, что он — скучает? А знаете... я хотела вас спросить... Я ведь могу теперь просить развода?

— Развода! — вскричал я в негодовании и чуть не пролил кофе. «Это черномазенький!» — подумал я про себя с яростью.

Существовал некто черномазенький, с усиками, служивший по строительной части, который слишком уж часто похаживал к ним и чрезвычайно умел смешить Елену Ивановну. Признаюсь, я его ненавидел, и сомнения не было, что он уж успел вчера видаться с Еленой Ивановной или в маскараде, или, пожалуй, и здесь, и наговорил ей всякого вздору!

— Да что ж, — заторопилась вдруг Елена Ивановна, точно подученная, — что ж он там будет сидеть в крокодиле и, пожалуй, всю жизнь не придет, а я здесь его дожидайся! Муж должен дома жить, а не в крокодиле...

— Но ведь это непредвиденный случай, — начал было я в весьма понятном волнении.

— Ах, нет, не говорите, не хочу, не хочу! — закричала она, вдруг совсем рассердившись. — Вы вечно мне напротив, такой негодный! С вами ничего не сделаешь, ничего не посоветуете! Мне уж чужие говорят, что мне развод дадут, потому что Иван Матвееч теперь уже не будет получать жалованья.

— Елена Ивановна! Вас ли я слышу? — закричал я патетически. — Какой злодей мог вам это

натолковать! Да и развод по такой неосновательной причине, как жалование, совершенно невозможен. А бедный, бедный Иван Матвеич к вам, так сказать, весь пылает любовью, даже и в недрах чудовища. Мало того — тает от любви, как кусочек сахара. Еще вчера ввечеру, когда вы веселились в маскараде, он упоминал, что в крайнем случае, может быть, решится выписать вас в качестве законной супруги к себе, в недра, тем более что крокодил оказывается весьма поместительным не только для двух, но даже и для трех особ...

И тут я немедленно рассказал ей всю эту интересную часть моего вчерашнего разговора с Иваном Матвеичем.

— Как, как! — вскричала она в удивлении. — Вы хотите, чтоб и я также полезла туда, к Ивану Матвеичу? Вот выдумки! Да и как я полезу, так в шляпке и в кринолине? Господи, какая глупость! Да и какую фигуру я буду делать, когда буду туда лезть, а на меня еще кто-нибудь, пожалуй, будет смотреть... Это смешно! И что я там буду кушать?.. и... и как я там буду, когда... ах боже мой, что они выдумали!.. И какие там развлечения?.. Вы говорите, что там гуммиластиком пахнет? И как же я буду, если мы там с ним поссоримся, — все-таки рядом лежать? Фу, как это противно!

— Согласен, согласен со всеми этими доводами, милейшая Елена Ивановна, — прервал я, стремясь высказаться с тем понятным увлечением, которое всегда овладевает человеком, когда он чувствует, что правда на его стороне, — но вы не оценили одного во всем этом; вы не оценили того, что он, стало быть, без вас жить не может, коли зовет туда; значит, тут любовь, любовь страстная, верная, стремящаяся... Вы любви не оценили, милая Елена Ивановна, любви!

— Не хочу, не хочу, и слышать ничего не хочу! — отмахивалась она своей маленькой, хорошенькой ручкой, на которой блистали только что вымытые и вычищенные щеткой розовые ногти. — Противный! Вы доведете меня до слез. Полезайте сами, если это вам приятно. Ведь вы друг, ну и ложитесь там с ним рядом из дружбы, и спорьте всю жизнь о каких-нибудь скучных науках...

— Напрасно вы так смеетесь над сим предположением, — с важностью остановил я легкомысленную женщину, — Иван Матвеич и без того меня звал туда. Конечно, вас привлекает туда долг, меня же только одно великодушие; но, рассказывая мне вчера о необыкновенной растяжимости крокодиловой, Иван Матвеич сделал весьма ясный намек, что не только вам обоим, но даже и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами вместе, втроем, особенно если б я захотел того, а потому...

— Как так, втроем? — вскричала Елена Ивановна, с удивлением смотря на меня. — Так как же мы... так все трое и будем там вместе? Ха-ха-ха! Какие вы оба глупые! Ха-ха-ха! Я вас непременно буду там все время щипать, негодный вы эдакой, ха-ха-ха!

И она, откинувшись на спинку дивана, расхохоталась до слезинок. Все это — и слезы, и смех — было до того обольстительно, что я не вытерпел и с увлечением бросился целовать у ней ручки, чему она не противилась, хотя и выдрала меня легонько, в знак примирения, за уши.

Затем мы оба развеселились, и я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеича. Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей очень понравилась.

— Но только надо будет очень много новых платьев, — заметила она, — и потому надо, чтоб Иван Матвеич присылал как можно скорее и как можно больше жалованья... Только... только как же это, — прибавила она в раздумье, — как же это его будут приносить ко мне в ящике? Это очень смешно. Я не хочу, чтоб моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно пред гостями... Я не хочу, нет, не хочу.

— Кстати, чтоб не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семеныч?

— Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним все в свои козыри играли. Он на конфеты, а коль

я проиграю — он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со мной не поехал. Право!

— Увлечение! — заметил я, — да и кто не увлечется вами, обольстительная!

— Ну уж вы, поехали с вашими комплиментами! Пойдите, я вас ущипну на дорогу. Я ужасно хорошо выучилась теперь щипаться. Ну что, какво! Да, кстати, вы говорите, Иван Матвееч часто обо мне вчера говорил?

— Н-н-нет, не то чтобы очень... Признаюсь вам, он более думает теперь о судьбах всего человечества и хочет...

— Ну и пусть его! Не договаривайте! Верно, скука ужасная. Я как-нибудь его навещу. Завтра непременно поеду. Только не сегодня; голова болит, а к тому же там будет так много публики... Скажут: это жена его, пристыдят... Прощайте. Вечером вы ведь... там?

— У него, у него. Велел приезжать и газет привезти.

— Ну вот и славно. И ступайте к нему и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Я нездорова, а может, и в гости поеду. Ну прощайте, шалун.

«Это черномазенький у ней будет вечером», — подумал я про себя.

В канцелярии я, разумеется, не подал и виду, что меня пожирают такие заботы и хлопоты. Но вскоре заметил я, что некоторые из прогрессивнейших газет наших как-то особенно скоро переходили в это утро из рук в руки моих сослуживцев и прочитывались с чрезвычайно серьезными выражениями лиц. Первая попавшаяся уже была — «Листок», газетка без всякого особого направления, а так только вообще гуманная, за что ее преимущественно у нас презирали, хотя и прочитывали. Не без удивления прочел я в ней следующее:

«Вчера в нашей обширной и украшенной великолепными зданиями столице распространились чрезвычайные слухи. Некто N., известный гастроном из высшего общества, вероятно наскучив кухню Бореля и -ского клуба, вошел в здание Пассажа, в то место, где показывается огромный, только что привезенный в столицу крокодил, и потребовал, чтоб ему изготовили его на обед. Сторговавшись с хозяином, он тут же принялся пожирать его (то есть не хозяина, весьма смирного и склонного к аккуратности немца, а его крокодила) — еще живьем, отрезая сочные куски перочинным ножичком и глотая их с чрезвычайною поспешностью. Мало-помалу весь крокодил исчез в его тучных недрах, так что он собирался даже приняться за ихневмона, постоянного спутника крокодилова, вероятно полагая, что и тот будет так же вкусен. Мы вовсе не против сего нового продукта, давно уже известного иностранным гастрономам. Мы даже предсказывали это наперед. Английские лорды и путешественники ловят в Египте крокодилов целыми партиями и употребляют хребет чудовища в виде бифштекса, с горчицей, луком и картофелем. Французы, наехавшие с Лессепсом, предпочитают лапы, испеченные в горячей золе, что делают, впрочем, в пику англичанам, которые над ними смеются. Вероятно, у нас оценят то и другое. С своей стороны, мы рады новой отрасли промышленности, которой по преимуществу недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Вслед за сим первым крокодилом, исчезнувшим в недрах петербургского гастронома, вероятно, не пройдет и года, как навезут их к нам сотнями. И почему бы не акклиматизировать крокодила у нас в России? Если невская вода слишком холодна для сих интересных чужестранцев, то в столице имеются пруды, а за городом речки и озера. Почему бы, например, не развести крокодилов в Парголово или в Павловске, в Москве же в Пресненских прудах и в Самотеке? Доставляя приятную и здоровую пищу нашим утонченным гастрономам, они в то же время могли бы увеселять гуляющих на сих прудах дам и поучать собою детей естественной истории. Из крокодиловой кожи можно бы было приготовить футляры, чемоданы, папиросочницы и бумажники, и, может быть, не одна русская

купеческая тысяча в засаленных кредитках, преимущественно предпочитаемых купцами, улеглась бы в крокодиловой коже. Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету».

Я хоть и предчувствовал что-нибудь в этом роде, тем не менее опрометчивость известия смутила меня. Не находя, с кем поделиться впечатлениями, я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Саввичу и заметил, что тот уже давно следил за мною глазами, а в руках держал «Волос», как бы готовясь мне передать его. Молча принял он от меня «Листок» и, передавая мне «Волос», крепко отчеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Этот Прохор Саввич был у нас престранный человек: молчаливый старый холостяк, он ни с кем из нас не вступал ни в какие сношения, почти ни с кем не говорил в канцелярии, всегда и обо всем имел свое собственное мнение, но терпеть не мог кому-нибудь сообщать его. Жил он одиноко. В квартире его почти никто из нас не был.

Вот что я прочел в показанном месте «Волоса»:

"Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не «созрели», как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться. Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тот час же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic!), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы. Незванный гость хуже татарина, но, несмотря на пословицу, нахальный посетитель выходить не хочет. Не знаем, как и объяснить подобные варварские факты, свидетельствующие о нашей незрелости и марающие нас в глазах иностранцев. Размахистость русской природы нашла себе достойное применение. Спрашивается, чего хотелось непрошеному посетителю? Теплого и комфортного помещения? Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартирами, с проведенной неводской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев швейцар. Обращаем еще внимание наших читателей и на самое варварство обращения с домашними животными: заезжому крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит, раздутый горой, и в нестерпимых страданиях ожидает смерти. В Европе давно уже преследуют судом обращающихся негуманно с домашними животными. Но, несмотря на европейское освещение, на европейские тротуары, на европейскую постройку домов, нам еще долго не отстать от заветных наших предрассудков.

Дома новы, но предрассудки стары — и даже и дома-то не новы, по крайней мере лестницы. Мы уже не раз упоминали в нашей газете, что на Петербургской стороне, в доме купца Лукьянова, забежные ступеньки деревянной лестницы сгнили, провалились и давно уже представляют опасность для находящейся у него в услужении солдатки Афимьи Скапидаровой, принужденной часто всходить на лестницу с водою или с охапкою дров. Наконец предсказания наши оправдались: вчера вечером, в половине девятого пополудни, солдатка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой и сломала-таки себе ногу. Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. Точно так же не устанем мы утверждать, что дворники, счищающие на Выборгской с деревянных тротуаров грязь, не должны пачкать ноги прохожих, а должны складывать грязь в кучки, подобно тому как в Европе при очищении сапогов... и т. д., и т. д."

— Что же это, — сказал я, смотря в некотором недоумении на Прохора Саввича, — что же это такое?

— А что-с?

— Да помилуйте, чем бы об Иване Матвейиче пожалеть, жалеют о крокодиле.

— А что же-с? Зверя даже, *млекопитающего*, и того пожалели. Чем же не Европа-с? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хи-хи-хи!

Сказав это, чудак Прохор Саввич уткнулся в свои бумаги и уже не промолвил более ни слова.

«Волос» и «Листок» я спрятал в карман да, кроме того, набрал для вечернего развлечения Ивану Матвейичу старых «Известий» и «Волосов» сколько мог найти, и хотя до вечера было еще далеко, но на этот раз я пораньше улизнул из канцелярии, чтоб побывать в Пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, подслушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка, и на всякий случай поплотнее завернул лицо в воротник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно — до того мы не привыкли к публичности. Но чувствую, что я не вправе передавать собственные, прозаические мои ощущения ввиду такого замечательного и оригинального события.

Примечания

1

Эй, Ламбер! Где Ламбер?

Видел ли ты Ламбера? (франц.)

2

о мой милейший Карльхен! Матушка, матушка, матушка! (нем.)

3

целого (нем.)

4

наш Карльхен, наш милейший Карльхен умрет! (нем.).

5

лопнет (ломан. нем. и русск.)

6

это был мой сын, это был мой единственный сын! (нем.)

7

мой батюшка (нем.)

8

мой дедушка (нем.)

9

мой сын (нем.)

10

пятьдесят (от нем. funfzig)

11

Слава богу! (от нем. Gott sei dank!)

12

украшением (франц. pendant)

13

передовые политические новости (франц.).

14

здесь: чиновник (нем. Hofrat)